



Последние обряды лета



Эдуард Катлас

ФАНТАСТИКА

Рэй Брэдбери, «Вино из одуванчиков»

Тут не поспоришь — небо над нашим городком чудесное. Великолепное небо. Голубое-голубое. Облачка белые-белые, и движутся так медленно, красиво, величественно. Облака августа — не такие, как облака июня, и совсем уж не похожи на январские. Они особые — такие, что сразу видна их принадлежность к августу. Не скажу, что так везде, но в нашем городе — точно.

Гор у нас нет никаких, а то было бы само совершенство. А так — глазу зацепиться на небе не за что, только вот за облака да за кураторов. Корабль у них огромный, висит над городом не так чтобы высоко, поэтому не заметить его трудно. И еще он черный, слегка блестит на солнце, хоть и не сильно. И тоже очень красивый. Чужая красота, чуждая — но все равно красота. Что-то в изгибах этой не то летающей тарелки, не то пирамиды такое, что сразу понимаешь: нам до кураторов еще далеко. Мы еще кремень скальвать не начали, когда они неевклидову обосновали.

Понятия не имею, есть у них искусство или нет, и это просто математика так им формы кораблей просчитала, но все равно красиво. И гармонично так: небо голубое-голубое, облачка белые-белые, корабль этих выродков черный-черный.

Я художником бы стал, повернись все иначе. Или фотографом, да кто ж теперь выбирает! Семь десятков лет, как никто такими глупостями и не занимается. Завтра как раз и будет: именно в последний день августа они прилетели, кураторы.

Это они так сами себя называют, не мы. А нам-то что — кураторы так кураторы. Вот и кличем, чтобы не путаться. Кураторы нас, значит.

Меня Двойным кличут. Имя тоже есть, но его-то и не знает никто. Двойным — потому что я из новеньких. Таких еще мало, с полным дублированием спирали. А у нас городок маленький — так я и вовсе чуть не один. Поэтому не спутаешь.

Гены мне по-тихому разгоняли, еще в пробирке, папа говорит. Правильно, как же еще — только по-тихому и можно. Не с отчетом же к кураторам по таким темам идти. Не любят они этого. Правильно не любят, кстати.

Им наша самостоятельность не нужна. Наша самостоятельность им показатели портит. Когда Берлин восстал и вся Европа всколыхнулась, они процентов десять по продукции потеряли на месяц, не меньше.

Нет теперь Берлина, воронка только большая. Кураторы, они справедливые. Наказывают сурово, но за дело. Это я так — тренируюсь. Тренироваться надо постоянно, иначе — неблагонадежность. Через сканеры каждый день ведь ходить приходится. И не по разу. На завод, с завода, в поселение, из поселения. Говорят, еще и другие рамки кое-где стоят — для тех, кто базовых избегать умудряется.

Да только эти овцекрылы (это я ласково их, поскольку уважаю) за семь десятков лет так и не поняли, что сканеры их — фуфло полное. Их обмануть — только в путь. Теперь нас с детства учат — думать правильно. Думать вовремя. Думать сложно — так, что ни один сканер не разберет, как я этих осликов... обожаю.

Я летун. В смысле — меня в пробирке до летуна разогнали. У меня крылья есть. Ни у кого нет, а у меня есть. Огромные, намертво приросшие к плечам, а с предплечьем связанные толстой перепонкой. И в распахнутом виде уходящие еще дальше — метра на полтора в каждую сторону. Иначе мне не взлететь — человечье тело тяжелое. Хотя я легкий — у меня и кости другие, не как у всех, и обмен веществ почти как у птиц. Сейчас я меньше пятидесяти вешу, а когда крылья пророснут, то в теле сорок останется. Остальные в перья да хрящи уйдут.

Понятно, что сейчас я полететь не могу — крылья спят. Меня разогнали, но крылья спят — они же спрятаны. Кураторам о моих крыльях знать совсем ни к чему.

Но они мне каждую ночь снятся. Каждую ночь я летаю. Я умею планировать. Умею рваться ввысь на одних лишь нервах. Умею падать камнем вниз, почти до самой травы, а потом выравнивать полет в крутом вираже. Лететь над самой землей, низко-низко, пугая всякую мелкую живность, тоже умею.

Я каждое свое перышко помню. Каждое могу чуть повернуть, притормозить, разогнаться, повернуть, куда надо. У меня не просто перепонки будут, нет. Настоящие крылья, с перьями. Вроде белые, хотя тут я не уверен.

Мама говорит, что все дети летают во сне, — это значит, они растут. Я тоже расту, но эти сны — не мои. То есть мои, но они мне предначертаны (это тоже мамино слово). И мне они снятся каждую ночь. Как только я засну — я начинаю летать.

Папа говорит, что из-за этого у меня нет других снов, программу обучения тоже пришлось скрыть — в снах. А из-за этого мне не снится больше ничего, кроме моих полетов. Папа всего раз сказал, что ему жаль, что так. Но он же просто не знает, как это здорово — летать. Совсем не знает. Ему же еще и сорока нет, папе. А людям запретили подниматься в небо. Семьдесят лет назад.

Сказочник говорит, что раньше люди не просто летали, хоть и крыльев у них не было. Раньше мы даже в космос поднимались — туда, откуда кураторы. Только кураторы откуда-то еще дальше, поэтому они нас нашли, не мы их.

Историю тоже нельзя изучать, поэтому мы сказки рассказываем. Сказки про то, как раньше хорошо было. Как мы дружно жили на всей планете, учились, летали и строили. Работали и делали разные полезные вещи.

Сейчас мы только этим и занимаемся — делаем полезные вещи. Только не для себя — для них. И даже не знаем, кому эти вещи нужны. Они не говорят. Не говорят, а мы не знаем.

Мы же глупые. Сидим у себя на маленькой пыльной планете и думать не думаем, что это такое. Ни один самый умный у нас и не догадывается, что эти параллелепипеды с неоднородной молекулярной структурой — заготовки для энергетических винтовок. Их и доделать-то всего ничего, приборчик нужен небольшой. Нажал на кнопочку, лишнее осыпалось — отдав энергию на аккумуляторы, и винтовка готова к бою.

И конечно, у нас таких приборчиков нет и быть не может.

Правда, у нас Преобразователи есть. Тоже, как я, — разогнанные в пробирках. Но ни один из них ни одной заготовки силой своей не тронул за всю жизнь. Не время.

Интересно, а какие сны Преобразователям снятся? Снится ведь что-то? Или преобразовывать легче — и у них сны как у обычных детей?

Мне сейчас шестнадцать. Впрочем, так и задумывалось. Мне и должно быть шестнадцать сейчас, в конце лета, через семьдесят лет после.

Мы продукции немного для них делаем. Ровно столько, сколько можем. В нашем городе — винты, то есть параллелепипеды, в других — еще всякое разное. Даже истребители для космоса делаем — маленькие такие, юркие, одно загляденье. Я один раз был в гостях у тети и дяди — мне показывали. То же самое, что и нас, только чистый куб — и больше гораздо.

Так вроде смотреть не на что, конечно. Только дядя у меня Смотрящий — один из первых разогнанных. Если его за руку взять и на неоднородную молекулярную структуру взглянуть, то сразу все и видно. Суть вещей видеть — это здорово. Если я бы не был летуном, то очень хотел бы стать смотрящим. Но летун — конечно, еще лучше.

Так вот — немного мы для них и делаем. Сколько четыре миллиарда сделать могут — совсем немного. А наш городок так и всего ничего. И то не всегда справляемся. Шесть лет назад, я еще совсем мальцом был, норму за месяц не успели — кураторы каждого десятого в городе выжгли. Они справедливые.

Меня спрятали. Разогнанных всегда прячут. И под чистку мы никогда не попадаем. Полиция же, она тоже из людей. Только тридцать лет назад позволили. Тогда, говорят, и кое-что получаться стало. До этого не продохнуть было — а сейчас чуть легче. Кураторы умные — но их мало. Приходится им все больше всяких мелочей нам доверять. За порядком следить, например. За тем, чтобы все кураторов любили. Не знаю почему, но кураторы считают, что каждые двадцать из ста их не любят. За поколение — двадцать из ста. Наверное, у них на других планетах так всегда было. Ведь есть же у них и другие планеты, как не быть.

Это они тоже нашей полиции доверили — усмирение. Одного из трех сотен каждый год — вынь да положь. Где полиция и сама знает, кого взять, где — жребий кидают. Говорят, что и плохие гены лет двадцать как в крематории выбраковывают.

Папа говорит, что мы вроде муравьев стали или пчел. Каждый отвечает за свою маленькую работу. Кому-то летать придется, кому-то активировать, а кому и умирать — пока время не пришло. Это тоже работа такая, папа сказал, — умирать.

Там много хороших людей, в полиции. Иногда и им попадает. Кураторы ведь умные. Они еще доносы очень любят. Особенно на полицию. Они считают, что в полиции тоже трое из сотни их не любят. Поэтому у нас есть такие люди, которые им про плохих полицейских рассказывают, про тех, что их не любят. И в тот же крематорий...

Главное, чтобы кураторы были довольны и спокойны. Когда они спокойны, то и хорошо. А то вот говорят, итальянцы очень горячий народ были, никому не хотели подчиняться... так весь полуостров теперь под водой. Чуть-чуть его придавили вниз.

Да, я много знаю. И сказок про прошлое, и вообще. Меня мама учит. У нас только родители учат — это разрешено. Мама меня учит и читать, и писать. Сказки, конечно, она не любит рассказывать — это больше сказочника дело. Но зато она научила, что если светлячков в банку посадить побольше, то они еще почти час в темноте будут светиться. У нас много светлячков, под городом. Потому что ни у кого времени не хватает туда попасть.

А если сверчка найти и посадить в тихий угол, лучше за батареей куда-нибудь, то он и в городе жить будет. Этому меня тоже мама научила. У меня такой почти год в спальне жил. Тихонечко жил — не шумел. Стрекотал, только если я попрошу, понимающий был сверчок. Потом делся куда-то.

Мама у меня вообще умная и много вещей знает, о которых я и не догадываюсь. Только добрая слишком, папа говорит. Папа говорит, что нельзя нам такими быть, добрыми. Пока нельзя.

А я думаю, что можно. Иначе как? Мы можем и с крыльями быть, и с мозгами переделанными, и в крематорий послушно строиться, но без доброты мы не сможем. Я так считаю. Когда-нибудь, может, и не сейчас, тут папа прав, она нам очень понадобится, доброта. Чтобы кураторов пожалеть хотя бы.

Счетчики сказали, что конец лета — идеальное время. Конец лета через семьдесят лет после прихода кураторов. Счетчики посчитали, что у нас есть целых пятнадцать процентов шансов на победу. Потом меньше будет, до — тоже рано.

Мне счетчиков больше всего жалко, даже больше, чем полицейских.

Я-то верю, что мы победим. Мне считать не надо — я просто верю, и все. А они верят в свои пятнадцать процентов, потому что так их разогнали — считать. Плохо им сейчас, наверное, думать, что у нас есть восемьдесят пять процентов на полное уничтожение. Тяжко так жить.

А мне легко. Победим мы, пчелки всегда побеждают. И муравьи — тоже живучие. Как их одолеть, они же все заодно! Как и мы.

Меня активировать. Обряд за обрядом.

С утра мама сделала мне маленький укол. После завтрака папа сделал мне красивую татуировку на шее, такую крошечную зеленую змейку. Что-то еще было, когда я на завод заходил, хотя я и не почувствовал. Просто сказали — обязательно пройти через определенную дверь. Там пройдет обряд облучения.

Сейчас ко мне незнакомый парень подошел, почти у дома. Показал ладонь и сказал, что порезался.

Это тоже обряд — вроде как последний. Обряд активации крови. Я знал, что делать. Сжал ладонь, в которой была спрятана колючка. Было совсем не больно. Взял его руку в свою. Сказал: «Ничего страшного, скоро заживет». И пожал ему руку. Кровь смешалась с кровью.

Реакция началась сразу, парень еще за угол не завернул. Теперь моя кровь скоро станет взрывчаткой. Очень мощной. Настолько мощной, что сможет пробить броню у антигравов корабля кураторов.

Я сразу почувствовал сонливость. Мне говорили, что так и будет. Хорошо, что я был рядом с домом. Осталось только зайти и лечь в кровать.

Завтра я проснусь с крыльями, белыми-белыми, как облака на небе. Прыгну с подоконника, взлечу вверх. Быстро, что есть силы, — и к кораблю.

Как только я буду поближе к двигателям, кто-то, наблюдающий с земли за белым перышком в небе, нажмет на зеленую змейку у себя на шее. И корабль кураторов упадет вниз.

И четыре миллиарда муравьев пойдут на штурм. Четыре миллиарда жал ужалят.

Активаторы будут заряжать оружие. Спороносцы — окутывать корабли огромными вьюнами, чтобы кураторы не смогли взлететь никогда.

Взрыватели, с такой же кровью, как и у меня, — пойдут к шлюзам, пробивать проходы. Вслед за ними пойдут броненосцы, которые сейчас тоже спят, обрастая пластинами бро-

ни из плоти. Пилоты вспомнят свои сны и поднимут истребители на орбиту.

И лишь потом, вслед за разогнанными, двинутся остальные, с энергетическими винтовками, ножами и камнями.

Мне хочется всего двух вещей.

Мне хочется, чтобы после того, как мы победим, люди остались добры к этой Вселенной.

И кроме того, мне хочется, чтобы завтра я увидел в небе еще хоть одни белые крылья. Чтобы мы летели вверх вместе. Это должно быть так красиво. Особенно если облака...

С этими мыслями я уснул.

И этим сном окончилось лето две тысячи семьдесят восьмого года.

